

Российский государственный гуманитарный университет

Российская академия наук
Институт славяноведения

Польский институт при посольстве РП в Москве

**ПОЛЯКИ
И
РУССКИЕ:**

**взаимопонимание
и
взаимонепонимание**



И. О. Шайтанов

Пушкин и польский вопрос в контексте идеи всемирной истории

Поэма вне контекста. В ряд пушкинских высказываний о Польше памятно входит и его поэма «Медный всадник», по отношению к которой по сей день остаются в силе слова Л. В. Пумпянского: это произведение «является, быть может, величайшим, но менее всего понятым...»¹.

Предположу, что у великой поэмы и у пушкинского отношения к польскому вопросу одна и та же причина непонятости: их рассматривают вне контекста. Контекст же у них тоже общий.

В связи с «Медным всадником» утверждение об отсутствии контекста должно, пожалуй, показаться парадоксальным при том обилии параллелей, которые для этой поэмы уже установлены: от Гете и Барбье до Голикова и Мицкевича, — однако отдельные связи при всем их множестве не складываются в нечто осмысленное и целое. Отсутствуют важнейшие звенья, например, *Петр Чаадаев*. Чаадаев — имя очень близкое Пушкину, но неупоминаемое в длинном ряду перекличек, обнаруженных для «Медного всадника». И тем не менее в чаадаевском контексте написана поэма, между первым прочтением его писем в 1831 году и не отправленным ответом Пушкина на публикацию в «Телескопе» осенью 1836 года.

Чаадаевский контекст для Пушкина и был контекстом новой идеи. Какой? Подсказку для ее обнаружения в «Медном всаднике» дает параллель, в отличие от чаадаевской — близлежащей, весьма отдаленная и неожиданная — с английским поэтом первой половины XVIII века Александром Поупом. Завершая в 1713 году свою поэму «Виндзорский лес», он написал:

Whole nations enter with each swelling tide,
And seas but join the regions they divide...

Первая из приведенных строк, изображающая будущее процветание лондонского порта: «Целые народы входят с каждым поднимающимся приливом...» — едва ли не напомнит русскому читателю: «Все флаги в гости будут к нам...» (сейчас я опускаю систему доказательств, касающуюся знакомства Пушкина с этой поэмой и ее важности как параллели для «Медного всадника»²).

¹ «Пушкин. Временник пушкинской комиссии». 4–5. М.; Л., 1939, с. 91.

² См. подробнее в моей статье по этому вопросу: И. Шайтанов. Географические трудности русской истории: Пушкин и Чаадаев в споре о всемирности // Вопросы литературы, 1995, № 6.

Пушкинская строка прозвучала в поэме о XVIII веке, в «Медном всаднике». Правда, эта поэма запомнилась, в отличие от «Виндзорского леса» Поупа, не обещанием мира, а непримиримостью русской исторической трагедии. Поуп написал свою поэму ратуя за мир в войне за испанское наследство (1701–1714), открывшую XVIII столетие, не случайно иногда называют *первой мировой войной* — поля ее сражений были расположены на трех континентах.

Это был момент, когда рождалась новая Европа, которая вдохновляется этим своим единством и постепенно осознает его как проблему, несколько позже дав ей название — *идее всемирной истории*.

Участие России во всемирной истории это — в пушкинскую эпоху — чаадаевская проблема: его мысль о нашем историческом одиночестве, изолированности, нашей выключенности из европейской истории. Пушкин, как известно, с этой оценкой не согласился. И, помимо других деятелей русской истории, указал на Петра, прорубившего окно в Европу. Однако, поэма об этом событии — «Медный всадник» — все равно прозвучала русской трагедией, трагедией, которой обычный человек платит за историческое величие.

Польский мотив в «Медном всаднике» указан в примечаниях самим Пушкиным: Пушкин гимном Петербургу откликнулся на леденящий образ российской столицы в «Дзядах» Мицкевича.

Но это не единственный польский мотив. Поэма по сути дела возникла в обрамлении польских мотивов: парижский том Мицкевича попал к Пушкину летом 1833 г., то есть совсем незадолго перед тем, как Болдинской осенью того же года замысел, сопровождавший Пушкина по меньшей мере три года, выкристаллизовался и был приведен к завершению. Все начиналось как будто бы далеко от Польши — в предваряющей «Медного всадника» «Родословной моего героя», которого Пушкин назвал *Езерским*.

Странная фамилия для героя поэмы об обедневшем *потомке русских бояр!*? Именно ее строфы станут первым ядром для «Медного всадника». Мне не приходилось, по крайней мере в русской литературе о поэме, встречать, чтобы кого-то заинтересовало неожиданное в данном контексте — польское звучание фамилии. Что это — случайный знак связи «Медного всадника», еще в глубине его неоформившегося плана, с польскими событиями? Но если и знак, то что обозначающий?

Езерский. За польскими событиями 1830–1831 гг. Пушкин следил пристально, с болью и не только по газетам. Он знал многое больше. Однако и русские газеты, строго следовавшие официаль-

ной версии, сообщавшие о том, что было дозволено и когда дозволялось, не обошли вниманием столь важный факт, как прибытие посланцев польского сейма.

В течение декабря и первой половины января восстание, хотя и начавшееся возмущением снизу, контролировалось сверху людьми, желавшими избежать крайностей. Это относится прежде всего к признанному сеймом диктатором генералу Хлопицкому. Опытный военный Хлопицкий делал все, дабы не допустить до вооруженного противостояния с русской армией, поставив целью — путем переговоров добиться ее ухода из Польши. Крайние агитировали против Хлопицкого едва ли не с момента его избрания, а 16 января утром он «пригласил к себе депутатацию сейма и объявил ей, что непременно должен вступить в переговоры с Россией и что он не берет на себя вести войска в сражение. Он показал им письмо, написанное к нему, по высочайшему повелению Его Величества, графом Грабовским... Сверх того явил он еще письмо князя Любецкого, заключавшее в себе тоже самое, и присовокупил: “Имея в руках такие документы, я не могу более носить звание диктатора”».

Далее «Санкт-Петербургские ведомости» (21 января 1831 г.) так излагают ход событий: «Открытие сейма последовало 7/19 числа... генерал Хлопицкий сильно и пламенно провозгласил, что нация не может нарушить присяги, данной ею Императору Николаю...». И вслед за этим официально отрекся от должности, что «распространило повсюду страх и смятение».

Что же послужило поводом для столь решительных действий? Они произошли «вследствие возвращения из Петербурга графа Езерского...». Такой была фамилия посланника сейма, доставившего в Варшаву царское требование «восстановления законного порядка и наказания главных виновников...».

Сразу же по принятии манифеста от 6 декабря сейм направляет в Россию двух посланников. Поехали двое, вернулся один. Главной фигурой депутатации был, безусловно, министр финансов Польши князь Любецкий, прорусский администратор. Выбор теперь пал на него как на лицо наиболее приемлемое, компромиссное в переговорах с Россией. Добравшись до Петербурга, он счел за лучшее там навсегда и остановиться, прекратив исполнение своих посольских полномочий.

Вся тяжесть поручения легла на слабые плечи второго посланника — графа Езерского. Он выполнил его так, как смог, не обладая ни твердостью характера, ни дипломатическим опытом. А трудности миссии были немалыми. Они начались задолго до Петербурга, до того, как 14 декабря Николай принял Езерского (слу-

чайно ли совпала дата или была избрана с умыслом — шестилетней годовщины разгромленного Николаем восстания декабристов? В Варшаве эту дату отметили бурной манифестацией).

В этот же день «Русский инвалид» и на следующий — «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили о том, как еще в Нарве, по приказу императора, оба посланца были остановлены с тем, чтобы выяснить, не следуют ли они «в звании посланного от незаконной власти»? Любецкий как старший заверил, что направляется исключительно с тем, чтобы «провергнуть к подножию престола донесение о последовавших в Варшаве событиях... Вследствие сего Его Императорское Величество высочайше повелел сделать распоряжение к допущению в Санкт-Петербург министра финансов князя Любецкого и депутата на Сейме Царства Польского графа Езерского».

Император демонстрирует власть и твердость. Посланцы раболепно идут на унижение и заранее отрекаются от защиты вверенных им интересов, объявляя себя не столько послами сейма, сколько информаторами царя.

Подобных сведений о посольстве читателям русских газет пришлось ждать более месяца: остался в Петербурге Любецкий, возвратился Езерский, отрекся от диктаторства после его возрвращения Хлопицкий, власть в Варшаве перешла к радикалам, «молодежи»... И только тогда одновременно с «удивительно прекрасным», по выражению Пушкина, манифестом императора от 25 января газеты опубликуют изложение всего хода событий, где найдет себе место и рассказ о высочайшей аудиенции:

«С самых первых пор мятежа Его Величество изволил явить милостивое свое благорасположение, удостоив принятием князя Любецкого и депутата Езерского, прибывших из Варшавы для представления отчета в происшествиях, ужасно и неожиданно нарушивших спокойствие Царства. Государь Император изволил принимать их 14 декабря каждого особо. Они единогласно описывали Его Величеству мятеж 17-го ноября. По их донесению, сей мятеж произошел без всякого предварительного плана: никакой определенной цели не было в виду у бунтовщиков, состоявших из небольшого числа молодых людей... Депутат Езерский особенно повторял уверение, что несметное большинство народа и войск чуждо предприятию малого числа молодых безумцев, и что большая часть сия, состоящая изо всех людей благоразумных и рассудительных, пребывает верною Царствующему Дому и особе Царя... В заключение донесения своего молил он Его Величество о великодушии и милосердии... Его Вели-

чество изволил объявить депутату Езерскому, что требует восстановления законного порядка и наказания главнейших виновников... если дерзают на брань противу своего Государя, то *в сем случае они сами, и их пушечные выстрелы ниспровергнут Польшу...*».

«Депутат Езерский с сим ответом отправился из Санкт-Петербурга 25 декабря...».

«Санкт-Петербургские ведомости» публикуют эту хронологию событий вместе с манифестом 28 января. А в номере от 30 января объявлен рекрутский набор по России.

Несколько днями ранее, наверняка зная многое полнее газетных сообщений, Пушкин пишет меланхолическое письмо Е. М. Хитрово (дочери Кутузова!): «Стало быть молодежь права, но одержат верх умеренные...». Умеренные не взяли верх в этот момент, напротив, восторжествовала «молодежь» или даже «партия молодежи», как официально именуют радикалов. Могло ли это примирить Пушкина? Мог ли он увидеть в восстании взявшей верх молодежи осуществленным байронический порыв? Он прав в другом — в предсказании общего исхода, от которого всем будет хуже, и если что явится, то не Польша в романтическом ореоле, а Варшавская губерния, каковой ей и было суждено остаться надолго.

Езерский со своим посольством в этом именно смысле эмблематичен. Благодарной памяти соотечественников он также не снискдал. Едва ли не первый историк восстания Л. Мирославский, выпустивший свою книгу в 1836 г. в Париже, так характеризует его и поручение, им исполненное:

«Езерский был шутом гороховым, совершенно потерявшимся в блеске имени своего коллеги. Он сам признавал за ним превосходство в ведении дипломатических дел и, по правде говоря, столь мало годился для данного поручения, что счел за лучшее целиком положиться на него в исполнении их общей миссии...». После того, как Любецкий фактически сложил с себя дипломатические полномочия, «предоставленный собственному скучному разуму и лишенный всяческой поддержки», Езерский попытался худо-бедно выпутаться из этого дела. Его способности столь мало соответствовали поставленной высокой цели, что он достоин скорее жалости, чем ненависти за ничтожный исход встречи, которой после тысячи затруднений царь в конце концов удостоил посланца. Они встретились 20 декабря (неточность. — И. Ш.) в Санкт-Петербурге. Николая сопровождал его генерал адъютант граф Бенкендорф».

Далее следует сцена плохо сдерживаемого царского гнева и едва скрываемого унижения: «Езерский, потрясенный, бормотал, что

восстание не было общенациональным делом, а что лишь несколько заговорщиков, ободренных поддержкой со стороны недовольных военных, были единственными виновниками»³.

Высокая миссия оборачивается шутовством, а граф Езерский наглядно воплощает образ исторического унижения. Ни в письмах Пушкина, ни в его известных высказываниях об этом эпизоде впрямую не говорится, только фамилию Езерский он вдруг неожиданно даст герою исключительно русской, имеющей и автобиографический подтекст, поэмы, над которой начинает работать несколько месяцев спустя после посольства Езерского.

Зачем — даже как первоначальный вариант — это имя явилось в поэме о потомке русских бояр, утратившем и забывшем свое историческое величие? Отложился ли в памяти современный эпизод, демонстрирующий как легко переступить в истории грань, отделяющую великое от смешного? Или это был аргумент, избранный в пользу общности славянской истории, неделимой на русскую и польскую в пределах одного государства?

Как бы то ни было, Пушкин не мог не знать о посольстве графа Езерского, о роли, им сыгранной. Как он не мог взять его фамилию, не считаясь с неизбежностью узнавания современниками. Что он хотел подсказать им этим совпадением имен? Остается догадываться.

Но имя героя звучит первым польским мотивом, каким-то неясным (и невыясненным уже) образом вплетенным в сюжетную основу поэмы о всемирной судьбе России.

Россия и всемирность. Пушкин в поэме «Медный всадник» пытается стать в виду крайностей, признавая их *своими*, но будучи независимым от любой из них. Он не обещает примирения, ибо примирения не знает жанр трагедии, повествующий всегда о непримиримом. Автор присутствует в сюжете между крайностями, помнящий, в отличие от героя, о прошлом и восхищенный им; не равнодушный, в отличие от Петра, к настоящему в его обыденности и человечности. Последующая критика билась над решением проблемы — с кем же все-таки автор, проходя мимо того, что поэма написана с трагическим сожалением о необходимости выбирать, навязываемой русской жизнью: между сочувствием и величием, прошлым и настоящим, государственным и человеческим...

³ L. Miroslawski. Histoire de la révolution de Pologne précédé d'un aperçu rapide sur l'histoire universelle... Paris, 1836, p. 241–242.

Неизменное для России *между* как воплощение ее пространственно-исторической промежуточности. Как будто она оказалась единственным океаном мирового бытия, который не соединяет и сам выпадает из любого единства. В 1830-х годах это должно было ощущаться (и ощущалось!) Чаадаевым, Пушкиным как выпадение России из контекста *всемирной истории* — только что провозглашенной, только что осознанной Европой.

Идея всемирности в пушкинской поэме есть воплощенный принцип трудного единства Европы и России, Запада и Востока, а также — Петра и Евгения... Пушкин занимает позицию *между крайностями*. В том числе и между утопической идеей и русской реальностью.

Горизонт всемирной идеи для России открыла победа над Наполеоном, участие в общеевропейском деле. Это был момент *всемирного восторга*. Возвращение стало нарастающим моментом отчаяния, которое для Чаадаева приняло форму *тоски по всемирности*, видимо, окончательно осознанную во время европейского путешествия. По возвращении он садится за «Философические письма».

Когда Чаадаев сел за свои письма, Пушкин занялся Петром и русской государственностью.

Позиции Пушкина и Чаадаева сблизила Польша, окончательно представившая вопрос русской всемирной судьбы в виде формулы с разделительным, а не соединительным союзом: *Россия и Европа*. Под взглядом из России всемирная идея очень рано приобретает черты *проблемы, требующей решения, а не одилического гимна*.

Однако на польские события Пушкин первоначально откликнулся в жанре оды — за два года до «Медного всадника» написав летом 1831 г. «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину», которые тогда же были изданы брошюрой.

Это наиболее известные пушкинские высказывания, но в какой мере исчерпывающие его отношение к польскому вопросу? Претендующие ли на то, чтобы быть его решением?

Обе оды обращены не столько к побежденной уже Польше или к победившей России, сколько к Европе, возбужденно наблюдавшей за происходившим. Первое было ответом на выступления радикальных французских депутатов в палате с призывом поддержать Польшу, если нужно — то и силой оружия. Обращаясь к европейскому общественному мнению, Пушкин отказывает ему в праве иметь в этом деле решающий голос: «Оставьте, это спор славян между собою».

Европа заколебалась — признавать ли спор славянским, а дела внутренними, хотя пятнадцатью годами ранее сама дала согласие на очередной раздел Польши, которая теперь заново к ней апеллировала.

Польша искала европейской поддержки, а одновременно обещала Европе свою защиту — от русской опасности. Об этом было определено сказано в манифесте 6 декабря 1830 г., которым сейм по сути объявил о начале восстания и мотивировал его причины: «...не допустить до Европы дикие орды севера... защитить права европейских народов...».

Немецкий историк прошлого века Ф. Смит с ироническим изумлением комментировал это заявление: «Не говоря уже о крайней самонадеянности, с которой 4 миллиона людей брали на себя покровительство 160 миллионов, поляки хотели еще уверить, что предприняли свою революцию за Австрию и Пруссию, дабы служить им оплотом против России...»⁴.

В пушкинской формуле — «спор славян между собою» — звучала обида России, которую новая Европа откровенно оставляла за своими пределами, предварительно как бы сделав единственной ответчицей за очередной раздел Польши.

Однако, я не думаю, что спустя два года, во время написания «Медного всадника» Пушкин повторил бы ту формулу двухлетней давности с прежней категоричностью. Поэма с ее эпической обращенностью к истории стала для русского сознания первым опытом овладения всемирностью и применения ее к самой себе. И именно поэтому в нее как один из важнейших вплетается *польский мотив*.

В течение пушкинской жизни на своем пути в Европу *Россия дважды споткнулась на Польше*. Сначала во время переговоров после победы над Наполеоном, требуя восстановления Царства Польского в пределах своей империи. Союзникам такой шаг представлялся слишком решительным русским продвижением к центру Европы, но полностью предотвратить его они не смогли, ибо велик был страх перед военной мощью России. Полтора десятилетия спустя, при подавлении польского восстания, Европа воочию убедилась, с каким усилием далась русской армии победа, и вздохнула спокойнее.

Идея всемирности исторически осуществлялась в новой Европе. Если вспомнить О. Шпенглера, эта идея по своему происхождению и принадлежности была не только не всемирной, но даже не всеевропейской, а явилась плодом доминирования романо-германской культуры. Внутри именно этого мира идея *Weltgeschichte* вызрела и его историческое бытие охватывала собою.

⁴ Ф. Смит. История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов. В 3-х томах. Т. 1. СПб., 1863-1864, с. 219.

Каждый, пожелавший войти в этот мир должен был заплатить, выстрадать свою принадлежность к нему. Польша стала одной из первых заложниц европейского единства, заплатив едва ли не первой — тремя разделами. Россия — двухвековой отделенность, изолированностью от Европы, для которой она оставалась преимущественно — военной угрозой.

И тем не менее идея всемирности становится и остается действующим мифом европейского сознания, даже если она и никогда не может быть полностью осуществленной: «Единство истории как полное единение человечества никогда не будет завершено. История замкнута между истоками и целью, в ней действует идея единства...»⁵.

Карл Ясперс в этих словах подчеркивает неисполнимость, но и вечную исполняемость всемирной идеи. Она необходима как утопическое ощущение цели на горизонте общего бытия. Бытия, которое как никогда полно осуществляется себя сегодня в пределах единой Европы, общего рынка и на пути к которому все еще стоят старые исторические предрассудки.

Как это часто бывает, особая острота отношений сопутствует их близости, а не удаленности. Среди острых вопросов и спор славян между собой, ведущийся перед лицом Европы и по поводу принадлежности к Европе, но сущность которого во многом зависит от того, считать ли «между» разделяющим или скорее соединяющим сами спорящие славянские стороны.

Осуществимость идеи всемирной истории зависит от умения всех ее принявших как путь к новой реальности решать не только глобальные, но локальные споры, в том числе и внутриславянский спор. Другое дело, что сегодня вернее было бы сказать не «спор», а диалог, в котором важнее даже не убедить кого-то в своей правоте, а понять позицию другого и проговорить свою. Мифы и предрассудки невозможно отменить, их можно прояснить, сделать понятными и надеяться, что они исчезнут, высвеченные откровенным словом.

⁵ К. Ясперс. Истоки истории и ее цель // К. Ясперс. Смысл и назначение истории. М., 1991, с. 270.